



А. Ботникова

Воронежский миф в диалоге культур

В 1935 году, находясь в ссылке в Воронеже, Осип Мандельштам написал свое известное четверостишие:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж,
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь.
Воронеж – блажь, Воронеж-ворон, нож.

Эти строки, с их избыточной звуковой нагруженностью, с настойчивым повторением раскатистых сонорных в сочетании с шипящими одним своим звучанием уже способны навеять недоброе чувство. Мандельштам – «неисправимый звуколюб», один из тех поэтов, чьи стихи надо «пробовать на слух»: это всегда звучащие стихи, стихи, неизменно обнажающие фонетическую энергию языка. В них «голос сливается с кровью аорты, которая расширяется до разрыва»¹.

Четыре стихотворные строчки навсегда связали город не только с судьбой опального поэта, но и, по крайней мере, в глазах людей, знакомых с его творчеством, стали своеобразным знаком города, «воронежским мифом».

К созданию этого мифа, конечно, приложил руку сам поэт. Он, любитель простора: «Где больше неба мне, там я ходить готов...», «распахнутого кругозора», «раздвижного» дома, естественно воспринимал свое вынужденное пребывание в Воронеже как препятствие, помеху, преграду. Тема запертости, насильственной привязанности, прикованности к непривычному месту громко заявляет о себе во многих стихотворениях «Воронежских тетрадей»: дом поэта расположен не на улице, а в «яме»; «переулков лающих чулки и улиц перекошенных чуланы» цепко держат поэта в руках:

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я что ли пьян дверей? –
И хочется мычать от всех замков и скрепок...

«Насильственная» земля не отпускает:

Я около Кольцова,
Как сокол, закольцован –
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца...

Кстати, один из частных домов в Воронеже, где Мандельштамы снимали квартиру, действительно не имел крыльца. Но в контексте общей настроенности воронежских стихов поэта эта реалья обретает символическое значение: «*без крыльца*» воспринимается как запрет на вход и выход.

Воронежские стихи проникнуты острым чувством одиночества:

Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!

Все это строки из стихов человека, ощущающего себя узником. незаслуженно истязаемым Прометеем (*Где связанный и пригвожденный стон?*), каторжником с гирей на ноге (*К ноге моей привязан // Сосновый синий бор...*), отторгнутым от людей отщепенцем. И место, куда он насильно заброшен, воспринимается как тюрьма. Тревожно-мрачные заключительные строки из известного стихотворения Анны Ахматовой:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед,
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета...

– дополняют впечатление...

Однако в отношениях поэта с Воронежем отнюдь все не так просто. Бесспорно, «*мачеха Кольцова*» не стала и для Мандельштама родным городом. Вместе с тем краткий, всего трехгодичный, воронежский период едва ли был для него только дурным временем. Это годы интенсивного творчества, «*сладкогласного труда*». Три «Воронежских тетради» – неоспоримое свидетельство этому. «Стихи шли сплошной массой», – вспоминает Н.Я. Мандельштам². В Воронеже поэт снова обрел полноту поэтического голоса, так что мог с гордостью заявлять:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета –
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

В воспоминаниях Н. Я. Мандельштам воронежский период их жизни несколько раз называется «чудом»: «А все-таки нас чудо спасло и подарило нам три года воронежской жизни»³. И опять: «Воронеж был чудом, и чудо нас туда привело»⁴. Эти строки возникли не только потому, что, когда они писались, пребывание в Воронеже стало восприниматься как «передышка», но и объективно сам город привлекал поэта. Здесь ссыльный знал счастливые минуты: приезд Ахматовой и других друзей. Здесь он обрел верного друга в лице Н.Е. Штемпель (Наташи). Надежда Яковлевна свидетельствует: «Сам город очень нравился О.М. Он любил все, что хоть сколько-нибудь напоминало о рубеже, о границе, и его радовало, что Воронеж – петровская

окраина, где царь строил азовскую флотилию. Он чуял здесь вольный дух передовых окраин и вслушивался в южнорусский, еще не украинский говор. Вот почему паровозные гудки заговорили у него по-украински»⁵.

И в «Воронежских тетрадах» не случайно рядом с образами «замков и крепостей» появляются образы «распахнутого кругозора», «величия равнин», огромного неба, пусть «одышливого», но «простора». На какое-то время к поэту возвратилась полнота поэтического дыхания. В том же апреле 1935 года, когда было создано жестокое четверостишие, рядом с ним помещаются строки противоположного содержания:

... А город от воды ополоумел;
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском повороте,
А небо, небо – твой Буонаротти...

Да и Ахматовой Воронеж запомнился не только ночными страхами. Днем «обледенелый» город под «светло-зеленым» сводом, весь «в солнечной пыли» вызывает в памяти образ «могучей, победительной земли». Город встречи двух отверженных поэтов воспринимается как символ радости, «брачный пир», как «ликованье наше».

Городской, столичный человек, Мандельштам в Воронеже смог ощутить и оценить до сих пор незнакомую ему жизнь провинциального города центральной России. А. А. Ахматова писала позже: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен»⁶. Стихотворения: «Чернозем», «Клейкой клятвой пахнут почки...», «Я к губам подношу эту зелень...» пронизаны ощущением неиссякающей жизни природы.

И тем не менее, в мифе закрепился только «Воронеж – враг». То, что воронежские годы были временем расцвета поэтического творчества Мандельштама, не вошло в миф. В глазах потомков образ города обрел зловещие черты.

Особенно в Германии.

Поэт Хайнц Чеховски в одном из стихотворений 90-х годов вспоминает о Воронеже именно в связи с Мандельштамом:

Winterastern, Notenpunkte
Über dem welkenden
Gras. Ach, Apothekerin,
Mandelstams noch immer
Verbannte Tochter: Blühen
Die winzigen Sterne auch
In den Gärten
Von Woronesch

Зимние астры. Нотные знаки
На вянущей
Траве. О, аптекарша,
Мандельштама все еще
Ссылная дочь: цветут ли
Маленькие звездочки также и
В садах
Воронежа?

Смысл стихотворения «темен». Совершенно не ясно, о какой мандельштамовской дочери, да еще аптекарше, может идти речь. Астры лишь в слабой степени могут напомнить о строке из известного стихотворения, начинающегося словами: «Я пью за военные астры...». Зато очевидно выражено сомнение в том, что в обледенелых садах Воронежа могут сохраниться «звездочки» живых цветов.

Образ Воронежа задержался в сознании Чеховски явно не случайно. Одно из стихотворений поэта прямо называется «Воронеж». Приведем его полностью:

Das ist der finstere, kälteste Tag:
Die Straßen verspiegelt von Eis,
Auf dem Teller der übliche Fraß,
Vorm Fenster schiebt sich ein einsames Auto
Über die Kreuzung wie eine Schabe.
Die Kälte der Betten steht
Im diametralen Gegensatz
Zu den Räumen, den überheizten..
Vierzig Frauen und Männer
In einer Baracke, die Liebe
Abgetrieben wie
Ein lästiger Fötus. Nimm Deinen Pelzenmantel,
geh,
Mandelstam, deine jüdische Nase
Ist nicht das einzige
Attribut deiner Abtrünnigkeit,
Lach oder weine – die Schauspielerinnen
Erinnern sich deiner Beschmittheit, keine
Deiner Freundinnen wird sich noch
In der Mikwe reinigen nach den siebenten
Tag ihres Blutes. Männer, Frauen – wer
Unterscheidet sie noch in dieser
Lustfeindlichen Zeit? Nur Bogdanow, der Funktionär
Voll von Wodka, treibt
Durch die animalische Luft
Des überfüllten Schlafsaals. Seine Stifel
Zeigen auf die oder jene, deren Männer

Sich unter der Decke verstecken. Was bleibt,
Wenn deine Zeit vergangen ist
Und du dich
An nichts mehr erinnerst, Mandelstam?
In der Vorhölle Dante
Leckt sich die Finger
Nach deinen Erfahrungen, Jude⁷

Это – самый темный, самый холодный день.
Улицы загромождены льдом.
На тарелке – обычная жратва,
Под окном – одинокий автомобиль
Ползет через перекресток, как таракан.
Холод кроватей
Непостижим
В жарко натопленном помещении.
Сорок женщин и мужчин
В одном бараке, здесь
Вытравливают любовь,
Как постыдный плод. Возьми
Свою шубу,
Уходи, Мандельштам,
Твой еврейский нос
Не единственный
Признак твоего отщепенства.
Смейся иль плачь, – актрисы
Помнят, что ты обрезан.
Ни одна из твоих подруг
Не очистится в микве после седьмого
Дня своих месячных. Кто тут
Разберет, где мужчины, где женщины
В такое
Безлюбное время? Лишь Богданов,
Политработник,
Красный от водки,
Плывет сквозь тяжкий звериный воздух
Переполненного барака. Сапогом
Он укажет на женщин,
Чьи дружки
Прячутся под одеялом. Что останется,
Когда твое время пройдет
И ты все позабудешь, Мандельштам?
Данте в преддверии ада
Завидует черною завистью
Тому, что ты видел, еврей.

(Перевод Г. Ратгауза)

Согласимся: образ Воронежа здесь больше напоминает один из кругов Дантова «Ада», чем те немногие, но точно характеризующие город реалии, которые возникают на страницах «Воронежских тетрадей». Больше того, текст «Воронежских тетрадей», по сути, не учтен. Может быть, только зеркально обледенелая дорога напоминает ахматовскую строку: «И город весь стоит обледенелый...», а упоминание имени итальянского поэта может быть отнесено к стихотворению «Заблудился я в небе...».

Кошмарная картина с гротескными образами и ситуациями, хотя и свидетельствует о несомненном знакомстве автора стихотворения с судьбой поэта, в сущности, никак не связана с воронежским текстом Мандельштама. По-видимому, звуковой организации самого слова «Воронеж» обязано вынесенное в заголовок название города. Для автора оно означает нечто страшное, дикое, неестественное и насильственное. Автор знаком с литературой о сталинских лагерях и творимых там беззакониях, но в немногих сохранившихся свидетельствах о лагерной жизни Мандельштама подробностей такого типа нет⁸. Чеховски создает картину в духе Босха, соединяя вместе «холод постелей» и душную жару барачного помещения, где вповалку спят мужчины и женщины, где пьяные надзиратели грубо удовлетворяют свою похоть, где царствует звериный дух, где любовь вытравлена, как ненужный зародыш.

Эти образы немецкий поэт заимствовал не из «Воронежских тетрадей» и вообще не из стихов Мандельштама. Скорее всего, кошмарная картина возникла в сознании Чеховски под влиянием Пауля Целана. Ему-то бараки были знакомы не понаслышке. Этот замечательный немецкоязычный поэт с трагической судьбой и трагическим восприятием мира прекрасно знал русскую поэзию, а среди ее представителей особенно выделял Мандельштама. Он перевел много его стихов (книги «Камень» и «Tristia» полностью и еще отдельные стихотворения). Памяти Мандельштама Целан посвятил целую книгу под названием «Роза никому» («Die Niemandrose»).

Начиная с 50-х годов к переводам русской поэзии начала XX века обращались многие немецкие поэты. Кроме Пауля Целана – он особая статья – можно назвать самого Хайнца Чеховски, Райнера и Зару Кирш, Герберта Витта и др. Применительно к авторам из ГДР работу над этими переводами можно считать формой осторожной оппозиции. Благодаря этим авторам почти не признаваемые у себя на родине русские поэты «серебряного века» и их младшие современники обретали признание за рубежом. Издаваемые часто в двуязычном варианте в издательстве Reclam, эти публикации пользовались большим спросом и в России.

В случае с Мандельштамом, конечно, имела особое значение и трагическая судьба гения, который осмелился выразить свое отношение к все-сильному вождю, ко всему режиму и которого этот режим уничтожил. Для Хайнца Чеховски, этого, по выражению одного немецкого критика,

«элегического нонконформиста»⁹, если и не находившегося в открытой оппозиции к существующей власти, то внутренне не согласного с ней, судьба Мандельштама была явлением знаковым. А поскольку ее трагизм более всего отразился именно в «Воронежских тетрадах», особенно в известном стихотворении о городе – *насильственной земле*, то в его сознании и в сознании любителей стихов Мандельштама имя города стало ассоциироваться с названием узилища, где в муках погибает поэт.

Единожды возникнув, воронежский миф обрел свое продолжение в романе современного немецкого писателя Михаэля Шиндхельма «Путешествие Роберта». Шиндхельму известно, что Воронеж был местом ссылки Мандельштама. Может быть, поэтому бывший студент химического факультета Воронежского университета смотрит на город только через черные очки. В его изображении Воронеж предстает не только как один из безликих советских городов, олицетворяющих унылую жизнь в царстве «коммунистической мечты», но и обретае инфернальные черты из-за близости атомной станции, повлиявшей на экологическое состояние местности. Город – «смертельная угроза», «земля бесконечной печали»; его облик таков, что Тарковский мог бы снимать в нем своего «Сталкера»¹⁰.

Но Паулю Целану принадлежит особая роль. Он не только прекрасно знал русскую поэзию, но в одном из своих писем как-то даже заметил: «В основе я, наверное, русский поэт...»¹¹. К Мандельштаму у Целана было особое отношение. С автором «Воронежских тетрадей» он ощущал свое кровное родство, называл его «братом», подчеркивал актуальность его поэзии. Он утверждал, что «рожденные на свет обреченным поэтом стихи касаются и нас, сегодняшних»¹². Звучание еврейской темы в стихотворении Чеховски отчасти восходит к национальному немецкому опыту и чувству вины. Но более всего, по-видимому, своим появлением обязано именно влиянию Пауля Целана, его стихам, его судьбе, в чем-то схожей с судьбой Мандельштама. Следующие строки Целана могли продиктовать Чеховски его воронежский текст:

Wir sterben schon: was schläfst du nicht, Baracke?
Auch dieser Wind geht um wie ein Verscheuchter...
Sind sie es denn, die frieren in der Schlacke –
Die Herzen Fahnen und die Arme Leuchter?¹³

Мы уже умираем, чего не спишь ты, барак?
И ветер вокруг, как чумной...
Неужели, это они – флаги сердца и светильники рук, –
Что стынут в этой грязи?

У Мандельштама еврейская тема если и присутствует, то не как знак личной судьбы, а, скорее, как ощущение вековой истории. По словам его жены, «к еврейству Мандельштам приходит через европейскую мысль и культуру. Это не возвращение по зову крови...»¹⁴.

Иное у Пауля Целана, пережившего холокост и до конца жизни сохранявшего в памяти его апокалиптические образы. «Целан постоянно хранит включенную в стихотворение память о холокосте. Личная судьба Мандельштама – жизнь под надзором и смерть в лагере – в его сознании выступает знаком общей судьбы евреев»¹⁵. И шире: трагическая судьба Мандельштама в сознании немецкоязычного поэта вписалась в трагическую историю еврейства в XX веке и в трагическую историю отщепенства одаренной личности вообще. «В сем христианнейшем из миров / поэты – жида», – писала Марина Цветаева. Эти строки могли быть близки Целану.

Если снова обратиться к стихотворению Чеховски, можно заметить, что автор менее всего претендует на освещение судьбы русского поэта. Его знакомство с творчеством Мандельштама не подлежит сомнению. Вспомним хотя бы упоминание о «шубе» – опознавательном знаке облика поэта. При всем этом конкретность деталей – идет ли речь о реалиях города или о реалиях биографии Мандельштама – для Чеховски лишена значения. Эти реалии только символы, условные обозначения, коды, сигнализирующие о характере действительности. Воронеж как город, по сути, полностью изъят из реальных исторических обстоятельств, превращен в мифологему, в абсолютный знак ада. Подобно последнему кругу Дантова ада, здесь царствует холод: «*der kälteste Tag*», «*die Kälte der Betten*». Вспомним и «*зимние астры*» на мерзлой земле садов Воронежа. Перед нами мертвое царство. Обратим внимание и на то, что Воронеж у Чеховски обеззвучен, в то время как город «Воронежских тетрадей» звучит «*перекличкой поездов*» и «*говорливыми дебрями вокзала*», разговором «*чайника ночного*» и «*лающими*» переулками. Слышится там и «*сосновой рожицы звон*», и «*леса крики пташки*», и даже «*шелестящий под мостами*» ледоход.

При всем том, какими бы не соответствующими реальности ни казались нам детали изображенной картины, в поэтическом строе немецкого стихотворения однако ощущается некое внутреннее родство с мандельштамовским поэтическим мышлением, с его внутренней логикой, которая тоже часто нуждается в расшифровке. «...Стихи этого поэта требуют углубленного понимания», – замечает Н.Я. Мандельштам¹⁶.

Поэтическая мысль Мандельштама развивается по ассоциации, звенья, связывающие отдельные образы, часто отсутствуют; поэт не стремится к созданию целостной картины, а нанизывает друг на друга образы, по внешности случайные, а на самом деле точно улавливающие «шум времени». «Я не боюсь бессвязности и разрывов», – сказано в «Египетской марке»¹⁷. Пожалуй, те же мнимые «бессвязности» и «разрывы» мы встречаем и в стихотворении Чеховски. Внешние детали, подчеркнута хаотично нагроможденные друг на друга, почти не связанные между собой, вроде остатков скудной пищи на столе, тараканьим шагом идущей по обледенелому пути машины и актрис, которые не забывают о национальной

принадлежности поэта. Но они-то и создают образ-ситуацию. Бытовые детали и обстоятельства, лишь весьма отдаленно связанные с реальными фактами из жизни поэта, выступают «знаками» его судьбы. Но они же – и спрессованные знаки времени сталинского террора, они воспроизводят его содержание, рисуя положение творческой личности в тоталитарном государстве. Трагизм XX века в стихотворении Чеховски передан с помощью спрессованных деталей-символов.

Так, по иронии случайностей судьбы или произвола властей, заслывших поэта в город центральной России, а может быть, благодаря фонетической звучности своего названия, в глазах иностранцев Воронеж сделался ответственным за целый период истории, и, может статься, не только российской.

¹ Струве Н. Осип Манделъштам. Лондон, 1990. С. 271.

² Манделъштам Н. Воспоминания. Нью Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970. С. 180.

³ Там же. С. 100.

⁴ Там же. С. 152.

⁵ Там же.

⁶ Ахматова А. Листки из дневника // Манделъштам О. Воронежские тетради. Воронеж: Изд-во им. Е.А. Болховитинова, 1999. С.82.

⁷ Czechowski Heinz. Wüste Mark Kolmen. Gedichte. (о.О):Amman Velag, 1997. S. 172.

⁸ В Комментарии к стихам 1930 – 1937 гг. Н.Я. Манделъштам вспоминает армянские «общо», «где спят вповалку мужчины и женщины», но Чеховски едва ли мог это знать. – См.: Жизнь и творчество О.Э. Манделъштама. Воронеж: Изд-во ВГУ. С. 212.

⁹ Emmerich W./ Heinz Czechowski // Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur // [о. О, 1989] 33 Nlg. S. 9.

¹⁰ Schindhelm M. Roberts Reise [München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2000] S. 113, 114. См. об этом романе также: Гришаева Л.И. Самоидентификация личности в культурном инобытии: по роману М. Шиндхельма «Путешествие Роберта» // Проблема национальной идентичности в культуре и образовании России и Запада. Воронеж, 2000. Т. 2. С.23 – 32.

¹¹ Christine I. Dichtung und Poetik Celans im Kontext seiner russischen Lektüren // Celan wiederlesen. München, 1999. S. 51.

¹² Celan P. Gesammelte Werke in fünf Bänden. Vol. 5. Fr. a. M. 1986. S.623.

¹³ Celan P. Gedichte. Antologie der Ukrainischen Übersetzungen. Cernivci, 2001. S. 48.

¹⁴ Манделъштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930 – 1937 гг. // Жизнь и творчество О.Э. Манделъштама. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1990. С. 208.

¹⁵ См.: Glazova Anna. Celan's Mandelstam. p. 24. In: <http://polyglot.lss.wisc.edu/german/celan>.

¹⁶ Манделъштам Н.Я. – Там же, С. 208.

¹⁷ Манделъштам О. Собр. соч.: В 4 т. М.: Терра, 1991. Т. 2. С. 25.